К.В.Мяткина

Дождливый город



Я пыталась любить,

но все как всегда...

Кристина Мяткина
Дождливый город

https://litres.ru/73937306
SelfPub; 2026

Аннотация

Кристина Мяткина выпускает новую книгу — «Дождливый город».

Макс из Екатеринбурга внезапно оказывается в загадочном Дождливом городе, где время течёт иначе, дождь может быть кислотным, а улицы хранят мрачные тайны. Здесь он встречает Миру — хранительницу с магическим посохом, которая связана с городом таинственной связью. Вместе с попаданкой Элиной и серебристой кошкой Звёздочкой Макс пытается разгадать загадки этого места и найти путь домой. Но город не любит чужаков и не спешит отпускать тех, кто в него попал. Сможет ли Макс вырваться на свободу — или станет ещё одной строкой в тетради Миры?

Кристина Мяткина
Дождливый город

Пролог

Туман окутывает улицы Дождливого города. Капли стучат по мостовой в безумном ритме, словно отбивая приговор. Этот ритм не менялся сто лет — и это была не погода. Это был счёт. Город отсчитывал что-то своё, тайное, и отсчитывал всегда ровно, как отсчитывают те, кому больше нечем заняться: не жизнью, а ожиданием.

На вершине покосившегося фонаря появляется фигура — Мира. Её фиолетовые волосы сливаются с сумерками, а посох с мерцающей звездой кажется продолжением её руки. Она стоит так уже — сколько? Минуту? Год? Время здесь не имеет значения, и она давно перестала проверять. Сто лет она стояла на вершинах фонарей, на краях крыш, на перекрёстках пустых улиц — и ждала.

Она шепчет, будто обращаясь к самому городу:

— Сцена одна и та же, приступаем…

Её голос эхом разносится по пустынным улицам. Тени ше-

велятся, откликаясь на её слова. Мира закрывает глаза, и дождь усиливается, превращаясь в кислотную пелену. Она знает: цикл начинается заново.

Цикл. Она ненавидела это слово и произносила его чаще всего. Сто лет назад этот город был обычным — дождливым, тесным, живым, с булочной на углу и кассиром, который ругался на покупателей за мятые купюры. Сто лет назад здесь жили люди, которые уходили: на поезда, на войны, просто в большие города. И город — город не выдержал этого. Ему не хватило сильных слов, смелости, и он сделал то, что умел только он: удержал. Всё. Навсегда.

И теперь раз в сто лет — а может, чаще, она сбилась со счёта после первой сотни, — в город приходил кто-то новый. Чужой. Живой. Тот, чьё сердце ещё билось в мире, где дождь умеет кончаться. Город ловил таких, как рыбак ловит светящихся рыб: с осторожной, почти нежной жадностью. А она — она записывала.

В кармане её дорожного плаща лежала тетрадь. Старая, пожелтевшая, с потрёпанным переплётом. На первой странице — номер один. На последней начатой — чёрнильная капля, засохшая овалом. Она знала тетрадь наизусть: пятнадцать тысяч страниц имён, дат, процентов выживания. Она знала каждую строку — потому что каждую писала сама.

Вдруг среди шума дождя она улавливает чужой ритм — шаги.

Она замирает.

Такое случалось девять раз за сто лет — и каждый раз её сердце, старое, столетнее, изношенное ожиданием, делало одно и то же: падало. Не от страха. От завидущей жалости к тому, кто сейчас идёт по мокрым улицам и ещё не знает, что шаги его уже считаются.

Кто-то чужой вошёл в её игру.

Мира улыбается, но улыбка эта не несёт тепла. Она опускает взгляд вниз и видит его — Макса, попаданца, который ещё не понимает, в какой ад попал. Парень в промокшей куртке, с дорожной сумкой на плече — и с какой-то нелепой, отчаянно живой осанкой человека, который привык опаздывать на заказы и всё равно успевать. Рядом с ним — серая кошка, идущая след в след, с белой меткой во лбу. Звёздочка. Старая, как сам город. Проводник, который не приносил сюда ещё никого живого — и который всегда приходил сам.

Город под ней вздрогнул — весь, до последней трубы. Она почувствовала его голод: тусклый, тянущий, страшный. Он

смотрел на новичка сотней окон и не мог отвернуться, как не может отвернуться умирающий от жажды, которому налили стакан.

— Ты опоздал на представление, — шепчет она, исчезая в тумане. — Но роль для тебя уже написана.

Она знала это представление наизусть. Она поставила его сама — сто лет назад, в первую ночь, когда город вцепился в землю мёртвыми руками и спросил её одним стуком дождя: «Ты останешься?»

Она тогда ответила: «Останусь».

И вот она здесь. Сто лет спустя. На вершине покосившегося фонаря. Под ней — город, который помнил всё и не умел отпускать. Перед ней — новый попаданец, который ещё смеет задавать вопросы.

А в её кармане, старая и терпеливая, ждёт чистая страница.

Под номером двенадцать.

Глава 1.

Последнее, что Макс помнил из мира, где есть солнце, — это приказ диспетчера:

«Заказ на Ленина, сорок восемь. Клиент пишет, что остывает. Макс, ну ты же бог скорости».

Он был богом скорости. Тридцать минут — и пицца с треснувшей корочкой сыра должна была лежать на девятом этаже, а клиент — извиняться за то, что усомнился. Макс вышел из подъезда, раскрыл капюшон над сумкой-термосом, шагнул под начинающийся дождь и...

Тишина.

Не та тишина, когда вокруг тихо. Другая — когда исчезает всё, что шумело. Транспорт. Люди. Свой же собственный пульс в наушниках. Он сделал шаг — и асфальт кончился. Не оборвался — просто стал другим: старым, тёмным, в трещинах, в которых застоялась вода столетней давности.

Макс стоял посреди пустынной улицы и не понимал одной простой вещи: куда делся город. Его город. С запахом выпечки от «Пекара» на углу, с неоновыми вывесками кафе, со светофором, который всегда горел красным ровно на секунду дольше, чем нужно, чтобы бесить.

Вместо этого — высотки. Тёмные, с потухшими окнами, они стояли вдоль улицы, как призраки в серой пелене. Машины у обочин — будто забытые игрушки, оставленные посреди игры. Ни фар. Ни огней. Ни единого звука — только дождь.

И дождь был странный.

Он барабанил по асфальту уже несколько часов — Макс не знал, откуда взялась эта уверенность, но она была, как уверенность, что ты проспал будильник, — и барабанил не просто так. С ритмом. С намерением. Капли падали не хаотично: они выстукивали что-то. Счёт. Монотонный, терпеливый, всё тот же и всё новый, — как будто город дышал через воду и считал свои вдохи.

«Где я?» — эта мысль билась в голове, как птица о стекло.

Он огляделся. Ни вывесок. Ни указателей. Ни людей. Только бесконечный дождь и тишина, от которой звенело в ушах, — тишина, в которой дождь был не погодой, а единственным голосом на планете.

Макс сделал шаг вперёд. Ещё один. Ноги вязли в лужах, и каждая лужа словно не хотела выпускать его из себя, — он чувствовал это буквально: вода тянула его вниз с тихой,

почти нежной жадностью. По спине пробежал холодок.

Это было не просто странное место. Это было место, которое хранило свои тайны и не спешило ими делиться.

И тогда он увидел кошку.

Она сидела посреди улицы — прямо на разметке, которой здесь не было, — серая, невидимых очертаний, с белой меткой во лбу, которая светилась в сумерках тускло и ровно, как ночник в детской. Она смотрела на него. Не как смотрят животные — как смотрят сторожа: давно, внимательно, с накопившимся за столетие терпением.

— Эй, — сказал Макс. Голос прозвучал в тишине оглушительно, как выстрел. — Ты тоже потерялась?

Кошка моргнула. Медленно. Потом встала, потянулась — по-кошачьи, до дрожи, с выражением существа, которое сто лет ждало, чтобы кого-то встретить, и теперь не собиралось торопиться, — и пошла. Не от него. Вдоль. Оглянулась.

«За мной», — сказал этот взгляд без слов, на всех языках мира сразу.

— Думаешь, я просто пойду за незнакомой светящейся

кошкой в городе из кошмара? — спросил Макс.

Кошка села. Ждала.

— Ладно. Куда нести — я всегда узнаю по маршруту.

И он пошёл за ней.

Улицы складывались в лабиринт, который не имел права существовать: повороты вели не туда, куда ведут повороты, дома повторялись с интервалом ровно в один квартал, и Макс — человек, который помнил наизусть схемы всех дворов своего района, — почувствовал, как под ногами уходит почва логики. Этот город был начерчен кем-то, кто никогда не ходил пешком. Кто знал только, как выглядят улицы, но не знал, зачем они.

Кошка привела его на перекрёсток.

И там, на вершине покосившегося фонаря, сидела она.

Девушка. Ноги свисали вниз, за спиной — посох с изогнутым концом, украшенным звёздами, которые мерцали в темноте, как маленькие живые светлячки. Фиолетовые волосы падали на плечи, и в них, в переплетении, алели розы — настоящие, живые, единственное цветное пятно на всей се-

рой улице. Она смотрела вниз, на него, — и не удивилась. Ни на каплю. Так смотрят, когда ждут гостя к чаю, а не когда на перекрёстке из ниоткуда вырастает живой человек.

— Привет, — её голос прозвучал как звон колокольчиков — неожиданно чистый, живой, слишком живой для этого места. — Ты откуда?

Макс вздрогнул, будто вынырнул из кошмара. Не от испуга — от нормальности. Впервые за весь этот кошмар кто-то звучал как человек.

— Я... я из Екатеринбурга, — выпалил он, с трудом подбирая слова. — А где я вообще? Что это за место? Почему тут так тихо?

Девушка слегка наклонила голову, будто изучая его. Её взгляд был одновременно любопытным и холодным, как зимний ветер, — и Максу почудилось, что в глубине этих глаз что-то мерцает. Мелкие искры. Звёзды. Он моргнул — и решил, что померещилось. Промок насквозь, тут любому померещится.

— Ты в Дождливом городе, — произнесла она наконец. — Я тут одна... ну, почти одна.

— Одна? — Макс почувствовал, как сердце сжалось от тревоги. — Но как это возможно? Где все люди? Почему тут так пусто?

— Люди... — девушка вздохнула, будто эта тема причиняла ей боль — старую, затёртую боль, которую проговаривают сотый раз и которая от этого не становится легче. — Здесь почти не осталось людей. Город изменился. Он... он стал другим.

Она окинула взглядом пустынную улицу, и на её лице промелькнула тень грусти — и не просто грусти. Вины. Мгновенной, спрятанной, но Макс её заметил: он годами смотрел в лица людей, открывающих двери, и умел видеть то, что прячут.

— А ты... ты как сюда попал? — спросила она, снова посмотрев на Макса.

— Я не знаю! — он всплеснул руками. — Я просто шёл по улице в Екатеринбурге, а потом — бац! И я уже здесь. Как это возможно? Это какой-то сон?

Девушка покачала головой.

— Это не сон. Это реальность. И она гораздо страшнее

любых снов.

Она спрыгнула с фонаря — легко, бесшумно, как спрыгивают те, кто делал это тысячи раз, — и подошла ближе. И Макс увидел то, чего не видел с земли: её глаза отражали свет дождя, будто в них спрятаны маленькие молнии. Не отблески. Настоящие — тонкие, холодные, живые.

— Меня зовут Мира, — сказала она, протягивая руку. — Я... хранительница этого города.

Макс осторожно пожал её руку — и почувствовал, как по коже пробегает лёгкий электрический разряд. Не больно. Как от дверной ручки зимой. Как от прикосновения к тому, что заряжено чем-то большим, чем должно быть заряжено.

— Хранительница? — он нахмурился. — Но что это значит? И почему ты говоришь, что ты тут одна?

Мира отвела взгляд — впервые. Быстро, почти зло, как отводят взгляд от зеркала.

— Я... я не могу рассказать всё сразу. Это слишком сложно. Но я могу показать тебе город. Если хочешь, конечно.

Макс колебался. С одной стороны — бежать. Куда бежать,

вопрос открытый, но желание бежать было честным и горячим. С другой — любопытство, и оно пересиливало. Что скрывал этот город? Почему он был пустым? И почему кошка со светящейся меткой привела его именно сюда, именно к ней?

— Хорошо, — наконец произнёс он. — Покажи мне этот город. Но сначала ответь — есть ли выход отсюда? Могу ли я вернуться в Екатеринбург?

Мира улыбнулась, но её улыбка не достигла глаз.

— Выход есть всегда, — сказала она загадочно. — Но найдёшь ли ты его — зависит только от тебя.

Она повернулась и пошла вперёд, жестом приглашая следовать за ней. Звёздочка — Макс узнал это слово откуда-то изнутри себя, как узнают имена, которых никогда не слышал, — побежала рядом, между ними, и её белая метка светилась ровнее.

Они шли по пустынным улицам, и город раскрывался перед Максом с новой стороны с каждым шагом. Здания казались живыми — они наклонялись, будто прислушивались к разговору, и Макс ловил себя на том, что понижает голос. Окна мерцали — не отражая, а глядя. Дождь усиливался, но

Мира, казалось, не замечала его. Её посох светился мягким светом, освещая путь, и капли, попадая в этот свет, замедлялись — на долю секунды, не более, — и падали уже мимо.

— Этот город живёт по своим правилам, — начала Мира, не оборачиваясь. — Время здесь течёт иначе. Пространство искажается по воле города. И... по моей воле тоже.

— По твоей воле? — Макс нахмурился. — Ты говоришь так, будто ты здесь главная.

— Я не главная, — поправила его Мира. — Я просто... часть этого места. Я связана с ним сильнее, чем ты можешь представить.

Она остановилась у высокого здания, фасад которого был покрыт странными символами, будто выгравированными дождём. Макс наклонился ближе — и снова почувствовал то же, что на трамвайной остановке: знакомость без воспоминания. Как будто он когда-то знал этот язык и выучил его забыв.

— Что они означают? — спросил он.

— Разные вещи, — ответила Мира с лёгкой улыбкой. — Предупреждения, истории, даже мечты. Но большинство

людей не могут их прочитать. Они просто проходят мимо, не замечая красоты и ужаса этого места.

— Ужаса? — по спине Макса пробежал холодок. — Ты говоришь так, будто этот город... опасен.

Мира повернулась к нему, и в её глазах мелькнула тень.

— Он не опасен, — сказала она медленно. — Он просто... не прощает ошибок. Здесь нельзя заблуждаться. Здесь нельзя терять надежду. И здесь нельзя забывать, кто ты есть.

Она подняла посох, и символы на фасаде засияли ярче, будто отвечая на её слова. Макс почувствовал, как воздух становится тяжелее, а дождь бьёт по крыше с удвоенной силой — и по этому стуку, на какую-то долю секунды, ему почудилось слово. Своё имя. Он отряхнул капли с лица и не стал спрашивать.

— Но как же ты живёшь здесь? — спросил он, стараясь не показывать страх. — Ты сказала, ты тут одна. Что ты ешь? Где ты спишь?

Мира усмехнулась.

— Я не выживаю. Я существую. Здесь время не имеет зна-

чения. Я могу спать сто лет, а могу не спать вовсе. Я питаюсь энергией города, его эмоциями, его историей.

— Историей? — Максу стало холодно. — Ты хочешь сказать, что ты питаешься чужими жизнями?

Мира покачала головой.

— Не жизнями. Воспоминаниями. Страхом. Надеждой. Радостью. Грустью. Всё это — часть энергии, которая поддерживает этот город. И меня тоже.

Макс огляделся, пытаясь найти хоть что-то, за что можно зацепиться взглядом, — но улицы казались бесконечными, а дождь вечным.

— Но зачем? — прошептал он. — Зачем ты это делаешь?

— Я не делаю этого по своей воле, — ответила Мира. — Это часть моего проклятия. Я хранительница. Я должна поддерживать баланс. Я должна... защищать этот город.

Она опустила посох, и символы на здании погасли. Дождь стал тише, будто прислушивался к её словам.

— Но ты можешь мне помочь, — добавила она неожидан-

но. — Ты — чужой здесь. Ты не связан с этим местом. Ты можешь увидеть то, что не вижу я. Ты можешь найти то, что я потеряла.

— Что ты потеряла? — в груди Макса загорелась искра — знакомая, курьерская, та самая, которая загорается, когда диспетчер говорит «адрес сложный, но только ты справишься».

Мира посмотрела на него долгим взглядом, будто взвешивая свои слова.

— Я потеряла себя, — наконец произнесла она. — И я потеряла выход из этого города. Но если ты найдёшь его... возможно, мы оба сможем выбраться.

С этими словами она повернулась и пошла дальше, оставив Макса стоять посреди пустынной улицы. Дождь снова усиливался, ветер завывал — и где-то в его завывании, если вслушаться, был ритм. Всё тот же. Счёт.

А на вершине покосившегося фонаря, за их спинами, — там, где она только что сидела, — на мокром камне остался тёплый след. Фонарь под ним тихо, едва слышно, загудел — и погас.

Он зажёгся снова, когда Макс, догнав Миру, поравнялся с ней.

Не для света.

Чтобы никто не остался один в темноте, пока есть тот, кто держит.

Глава 2.

Макс решил не терять времени и сразу взяться за поиски жилья. Мира пошла вместе с ним — то ли чтобы помочь, то ли из любопытства, а может, просто потому, что в этом городе «одна» уже давно стала её второй натурой.

Они бродили по пустынным улицам, заглядывая в заброшенные дома. Двери открывались с протяжным скрипом, словно нехотя впуская незваных гостей. Пыль клубилась в лучах тусклого света, просачивающегося сквозь грязные окна. В некоторых квартирах время будто остановилось: на кухне стояли нетронутые завтраки, на диванах лежали раскрытые книги, а на стенах висели фотографии улыбающихся людей, которые, возможно, уже никогда не вернутся.

— Вот эта подойдёт, — наконец сказал Макс, остановившись перед трёхкомнатной квартирой на третьем этаже. —

Окна выходят на площадь, много света… по крайней мере, насколько это возможно в этом городе.

Квартира встретила их затхлым запахом и слоем пыли в несколько сантиметров. Мебель выглядела старинной, но крепкой: массивный деревянный стол, резные шкафы, диван с выцветшей обивкой. На стене висел гобелен с изображением цветущего сада — резкий контраст с серой реальностью Дождливого города.

Мира усмехнулась:

— Ну что ж, начинай обживать своё новое пристанище. Только не удивляйся, если вещи начнут шептаться с тобой. Этот город любит напоминать о себе.

Они взялись за уборку вдвоём. Макс с остервенением тёр полы, будто хотел стереть не только пыль, но и ощущение чуждости этого места. Мира помогала… по-своему. Вместо тряпки она использовала магию: взмах посоха — и пыль взлетала в воздух, формируя причудливые узоры, взмах ещё раз — и всё исчезало без следа.

— Почему ты не используешь магию для всего? — спросил Макс, вытирая пот со лба.

— Магия — это энергия, — ответила Мира, не отрываясь от своего занятия. — Она берётся не из ниоткуда. Чем больше я использую силы, тем сильнее чувствую… пустоту внутри. Это как рана, которая не заживает.

Макс промолчал, но про себя отметил, что за лёгкой улыбкой Миры скрывается нечто гораздо более мрачное.

Когда с пылью было покончено, пришло время придать квартире хоть немного уюта. Макс нашёл стопку старых газет и сделал из них закладки для книг, которые обнаружил на полке. Мира создала несколько светящихся шаров, которые зависли под потолком, заменяя люстры.

— А это что за штука? — Макс поднял с пола старую лампу с треснутым абажуром.

— Попробуй подключить к сети, — предложила Мира. — В этом городе электричество работает по странным законам.

К удивлению Макса, лампа зажглась! Тёплый жёлтый свет наполнил комнату, и на мгновение показалось, что они находятся в обычном доме, а не в месте, где дождь никогда не прекращается.

Следующим этапом стало приготовление еды.

Кухня встретила их запахом пыли и чего-то давно скисшего — запахом дома, в котором люди исчезли не вчера и даже не в прошлом году.

Макс открыл окно, и дождь сразу потянулся в комнату, как будто ждал приглашения. Капли легли на подоконник ровным рядом, будто кто-то расставил их нарочно — по одной, аккуратно, чтобы никто не заметил.

— Лучше не так широко, — сказала Мира с порога. — Дождь здесь любопытный. Откроешь окно — он придёт с мыслями.

— С мыслями? — Макс оглянулся.

— У тебя же есть слова, которые ты говоришь сам с собой. У него есть капли. Это одно и то же.

Макс не ответил, но окно прикрыл — оставил узкую щель, не больше пальца. Почему-то казалось, что задрать его совсем — значит обидеть город.

— Плита, — он подошёл к старой чугунной плите в углу, слегка ржавой по краям, с четырьмя конфорками и духовкой, скрипучей на вид. — Газ есть?

Мира подняла бровь.

— Здесь нет труб. И здесь нет газа.

— Тогда как это работает?

— Никак. Точнее — так, как захочет дом. Тебе лучше не задавать этот вопрос слишком всерьёз. Начнёшь разбираться — город начнёт разбираться с тобой.

Макс сел перед плитой на корточки и заглянул под неё. Ни шланга, ни баллона. Внутри — сухо и чисто, как в новой витрине магазина. Даже пыли нет. Только тонкая гравировка на чугунном дне — знакомый уже язык города, сплошные завитки, похожие на волны.

Он повернул вентиль. Щёлк. Ничего. Щёлк-щёлк. Ничего. На третий раз Макс замер и, сам не понимая зачем, произнёс:

— Огонь.

Конфорка загорелась. Синим, абсолютно нормальным, честным огнём.

Макс отшатнулся так резко, что стукнулся затылком о

ручку духовки. Мира прыснула — она сидела на табурете у стола, подтянув под себя одну ногу, и смотрела на него с нескрываемым удовольствием.

— Ты... — Макс смотрел на ровное синее пламя. — Оно меня просто слушается?!

— Ты попросил вежливо, — сказала Мира.

— Я попросил «огонь». Одно слово!

— Именно. Одно слово — и всё. Город сделает почти всё, если ты попросишь правильно. А вот если потребуешь — не сделает ничего. Никогда.

— И это не мне? Мне, чужаку?

Мира пожала плечами и повела рукой — светящийся шар над столом опустился ниже, до уровня её лица, и она заглянула в него, как в маленькую луну.

— Город не делит на своих и чужих, Макс. Он делит на тех, кто с ним разговаривает, и тех, кто с ним воюет. Вторые здесь заканчиваются быстрее.

Он не стал спрашивать, как именно заканчиваются. Он

уже знал, что узнает это позже — и, возможно, пожалеет.

В шкафах нашлось то, что и должно было найтись в домах, куда люди ушли внезапно: банки с консервами, стеклянные бутыли с чем-то мутным, пакеты макарон, которые почему-то не отсырели. На нижней полке Макс обнаружил муку — настоящую, в запечатанном бумажном пакете, будто кто-то купил её в пятницу и не успел испечь пирог в субботу.

— Вот это да, — он повертел пакет в руках. — Настоящая мука. Держи.

— Зачем?

— Сейчас сделаем лепёшки. Или блины. Что-нибудь из муки, воды и соли. Это вообще самый простой вид еды, если нет мяса, масла, яиц и отчаяния.

Мира наклонила голову набок.

— Ты готовишь для меня? Но я тебе ничего не могу дать взамен.

— Так это не сделка, — Макс уже искал кастрюлю. — Это ужин.

— В моём... в моём мире, — Мира замялась на слове «мир», будто произносила его впервые, — никто ничего не делает просто так. Город учит сначала. Взаимность здесь не выгодна.

— Плохой у тебя город-учитель.

— Мой, — она поправила его тихо, но твёрдо. — Мой город.

Мешать тесто в тишине оказалось удобно: миска в руках Макса гудела почти как улей, и стук дождя за окном ложился в такт. Мира спустилась с табурета, подошла ближе и заглянула в миску сверху — так, что её фиолетовые волосы упали Максу на плечо. Он не отодвинулся. Она не убрала. В какой-то момент оба заметили, что стоят слишком близко, и разошлись одновременно, нарочито занятые каждый своим: он — сковородой, она — светящимся шаром, который зачем-то переставила обратно под потолок.

— Расскажи про лепёшки, — сказала Мира. — Откуда ты их знаешь?

— Бабушка, — Макс вылил первое тесто на сухую раскалённую сковороду, и по кухне разлился запах жареного теста — простой, живой, несовместимый с дождём. — У неё

в деревне они всегда были к чаю. Толстые такие, с зажаренной корочкой. Она ещё приговаривала: «Максик, еда любит, чтобы её ждали». Я тогда не понял, а теперь понимаю. Тесто нельзя спешить. Оно настаивается — и становится другим.

— Настаивается... — Мира повторила слово так, будто пробовала его на вкус. — У нас всё настаивается. Дождь настаивается в пустых домах. Тишина настаивается на площадях. А люди...

Она осеклась. Макс не повернулся — только на секунду задержал руку с лопаткой в воздухе.

— Люди настаиваются? — спросил он спокойно.

— Люди здесь не настаиваются, — тихо ответила Мира. — Они выстаиваются. Как солдаты. А потом падают.

— И сколько их пало до меня?

Мира молчала так долго, что первый блин едва не сгорел. Макс перевёл его на тарелку и начал второй.

— Несколько, — сказала она наконец. — Каждые сто лет — новые. Я видела многих. Они приходят разными: кто смеётся, кто плачет, кто бежит сразу к мосту. Но все они начи-

нают одинаково — с вопроса «где я?».

— А заканчивают?

— По-разному. — Она взяла со стола чистую ложку и повертела в пальцах. — Один любил петь. Мы пели вместе на крыше. Ещё один собирал зонты — здесь, представляешь, у некоторых домов остались зонты. Складывал их у стены, как деревья. Третий рисовал дождь, потому что больше нечего было рисовать.

— И все умерли?

— Не все, — Мира поставила ложку. — Один ушёл. Он нашёл выход. Я не остановила его, потому что... потому что я хотела, чтобы хоть кто-то ушёл живым.

Она снова замолчала, и Макс понял, что дальше она не скажет. Пока — не скажет. Он бережно перевернул второй блин.

— Ладно, — сказал он. — Тогда первый блин съедим вместе. В память о том, кто пел.

— Ты даже не знал его.

— Не знал. Но пел на крыше — значит, хороший человек. Этого хватает.

Мира отвернулась к окну. Дождь за стеклом на миг ослеп — как будто город дословно расслышал фразу и не знал, что с ней делать. Когда она снова повернулась, глаза её сияли ровно, и улыбка была настоящая — без резиновых краёв.

— Первый блин всегда комом, — напомнил Макс, выкладывая его на тарелку.

— Это значит неудачный?

— Это значит наш. По моему семейному кодексу.

Они сидели за тем самым массивным деревянным столом, ели блины, пересыпанные сахаром из найденной банки — сахар был всё ещё сахар, влажный от сырости, но живой. Мира взяла первый блин двумя пальцами, как хрустальную вещь, откусила и замерла.

— Ага, — сказал Макс. — Так и знал.

— Что «ага»?

— Ты впервые ешь настоящую еду.

— Я ела еду, — возразила Мира с достоинством человека, которого застукали за важным секретом. — В каком-то смысле. Энергия города имеет вкус. Дождь на вкус как железо и тополь. Страх — как ржавчина. Надежда — как...

— Как что?

— Как этот блин, — она посмотрела на остаток в руке и вдруг рассмеялась, коротко и непривычно для себя. — Как этот блин, Макс. Первый раз за сто лет.

За окном сгустились сумерки. Где-то в глубине города что-то тяжело лязгнуло — один раз, будто закрыли ставни на всём свете сразу. Макс отодвинул тарелку и посмотрел на кастрюлю, в которой ещё плескались остатки теста. И замер.

На донышке кастрюли, под тонким слоем теста, проступал символ. Он не был нацарапан — он как будто всплывал снизу, проявляясь из чугуна, как фотография в старом проявителе. Завиток, петля, точка.

— Мира, — сказал он очень спокойно, чтобы не испугать сам себя. — У нас тесто пишет язык города.

Она обернулась. Улыбка сошла с её лица медленно, как

вода со стекла. Она поднялась, подошла, наклонилась над кастрюлей — и Макс увидел, как сузились её зрачки. Не в гневе. В тоске.

— «Готовь для двоих», — прочитала она вслух и выпрямилась. — Город говорит: готовь для двоих.

— Ну, нас же двое...

— Нас было двое каждую сотню лет, — Мира взяла кастрюлю, и символ на донышке погас, растворился в чугуне. — И каждый раз город заранее знает, сколько будет сидеть за этим столом.

Она поставила кастрюлю в раковину, повернулась к Максу, и впервые за вечер не улыбалась.

— Спокойной ночи, Макс. Завтра изучим гостиную. Только одно правило на будущее: никогда не спрашивай город о том, сколько нас будет. Он считает лучше нас. И реже — ошибается.

В темноте кухни ещё несколько минут пахло блинами. Дождь стучал по подоконнику терпеливо, ровно, как учитель, у которого в запасе вечность.

Глава 3.

Гостиная оказалась самой большой комнатой в квартире — и самой молчаливой.

Макс заметил это не сразу. Сначала просто показалось: звук в этой комнате умирает быстрее, чем в кухне. Он хлопнул дверью на пробу — и хлопок стал коротким, будто обрезали. Он сказал «привет» — и эхо не вернулось. Слова ложились на ковёр и не поднимались обратно.

— Здесь стены толще, — предположил он, стуча костяшками по штукатурке.

— Здесь память толще, — ответила Мира с порога. Она несла подмышкой свёрнутый плед, найденный в спальне, и держала его так, как держат вещь, которая может оказаться дорогой. — В этой комнате кто-то жил долго. И прожил много. Стены вбирают.

— Вбирают что?

— Всё, что не сказано вслух.

Макс огляделся. Гостиная была просторной: широкий диван у стены, кресло с продавленным сиденьем, этажерка с

книгами, чьи корешки потемнели от времени, и большой комод у окна. Над комодом висел тот самый гобелен с цветущим садом — единственное яркое пятно во всей квартире. Сад на нём был нарисован с такой подробностью, что хотелось протянуть руку и коснуться травы. И странно: казалось, что трава на гобелене чуть колышется. Макс смотрел на него уже третий день и каждый раз не мог поймать момент движения. Края листьев были всегда чуть иными, чем в предыдущий раз.

— Плед из чужой спальни, — сказала Мира, расправляя его на диване. — Гостиная не любит чужих вещей, но плед тёплый, так что, надеюсь, договоримся.

— С кем договоримся?

— С комнатой, разумеется.

Макс уже научился не переспрашивать. В этом городе «разумеется» было самым частым словом и самым бесполезным объяснением.

Угол для Звёздочки они устроили у окна. Макс вытащил из кладовки старую плетёную корзину, выстелил её свитером, который нашёл в шкафу — серым, крупной вязки, с растянутым воротом. Звёздочка наблюдала за процессом с

дивана, подобрав под себя лапы. Кошка с первого дня вела себя как хозяйка, которой показали квартиру и вежливо спросили, согласна ли она жить. Она согласилась — но с оговорками.

— Всё, — Макс отряхнул руки. — Уют по высшему разряду. Корзина, свитер, вид на дождь. Я бы сам в такой жил.

Звёздочка спрыгнула с дивана, обошла корзину кругом, заглянула внутрь, понюхала свитер — и легла не в корзину, а рядом, на доски пола, ровно на границу солнечного пятна, которого в этом городе быть не могло. Пятно было слабым, сероватым, как отражение несуществующего света, но кошка лежала точно в его центре.

— Она всегда так? — тихо спросил Макс.

— Она ложится туда, где раньше было солнце, — Мира стояла у окна и смотрела на кошку снизу, не мигая. — В Дождливом городе много мест, где солнце было когда-то. Память о свете не смывается дождём. Звёздочка её чувствует.

— Откуда ты знаешь про неё так много? Ты же видела её второй раз в жизни.

Мира не ответила сразу. Она провела пальцами по под-

оконнику, собирая невидимую пыль, и посмотрела на пальцы так, будто ждала, что они что-то напишут.

— Кошки с метками приходят в этот город каждые сто лет, — сказала она наконец. — Всегда. Как попаданцы. Ты первый, кто их здесь увидел живой. Обычно город забирает их раньше.

— Забирает?.. — Макс посмотрел на Звёздочку. Кошка сонно прищурилась, лежала в своём сером пятне и не собиралась никуда забираться. — Куда забирает?

— В стены. В дождь. В то, что внизу, под площадью. — Мира договорила это ровным голосом, каким сообщают расписание поездов. — Поэтому когда она зашипела на меня в первый день — я поняла. Она узнала меня. Кошки с метками узнают хранительницу всегда. И всегда шипят.

— А ты почему не сказала тогда?

— Потому что ты бы спросил, почему она шипит. И я бы начала врать раньше времени, а врать тебе неприятно. — Она повернулась к нему, и в её глазах мелькнуло что-то похожее на усталую честность. — Вот и всё.

Макс хотел возразить — и не возразил. В этом городе «по-

том расскажу» было лучшим обещанием из возможных.

— Ладно, — сказал он вместо этого. — Тогда правило: всё, что шипит на тебя, рассказываете мне оба. По очереди. Равные права.

Уголки губ Миры дрогнули.

— Звёздочка не умеет говорить.

— Значит, ты будешь говорить за неё. Как переводчик.

— Она будет врать.

— Отлично, вы уже нашли общий язык.

И вот тут Мира рассмеялась — по-настоящему, запрокинув голову, — и Макс понял, что живёт в этом городе уже достаточно долго, чтобы считать её смех победой. Он записал этот день в блокнот: «Заставил хранительницу смеяться. День не зря».

Потом Мира решила показать магию.

— Ты всё время спрашиваешь, как это работает, — она встала в центре гостиной, отставила посох к стене — нароч-

но, чтобы показать, что без него тоже может. — Смотри. Это основа основ. Свет.

Она подняла руку, и над её ладонью родился шар. Не тот, что висел под потолком квартиры, а маленький, с яблоко, тёплого медового цвета. Он медленно вращался, и внутри него что-то мерцало, как снежинки в стеклянном шаре на новогодней ёлке, только снежинки были не белые, а золотые.

— Красиво, — честно сказал Макс.

— Это не красота, это нагрузка, — Мира говорила ровно, но Макс видел, как побелели её пальцы. — Смотри. Свет — самое простое. Теперь держим его ровно.

Она медленно повела рукой, и шар поплыл по комнате — мимо этажерки, вдоль потолка, к окну. Кошка проследила за ним глазами. Шар подплыл к плетёной корзине, покружил над свитером и остановился.

— Видишь? Я задала ему путь. Он идёт по моей воле. Магия здесь — это не вспышки и не молнии. Это просьбы, которые...

Шар дрогнул.

Мира замерла. Макс тоже — он успел заметить, что лицо Миры изменилось за долю секунды: не страхом, а чем-то более тонким, как будто она услышала за спиной шаги.

Шар погас. Не рассыпался искрами, не потух плавно — просто исчез, будто кто-то выключил его изнутри.

— Что это было? — спросил Макс.

— Не я, — Мира стояла очень прямо. — Это не я его погасила.

В гостиной стало тише, чем было до этого, а было уже совсем тихо. И тогда Макс услышал то, что не слышал ни разу за все дни в Дождливом городе: тиканье.

Тихое, ровное, размеренное тиканье часов. Оно шло от комода.

— У нас нет часов, — прошептал Макс.

— У нас нет часов, — повторила Мира тем же тоном, и это было хуже любого крика.

Они подошли к комоду вдвоём, как подходят к двери, за которой точно что-то есть. Макс выдвинул ящик — верхний,

тот, что был закрыт, когда они заселялись, — и внутри, между пожелтевшими салфетками и мотком бечёвки, лежали наручные часы. Обычные, мужские, со стоптанным кожаным ремешком. Циферблат с трещиной на стекле. И они тикали.

Мира взяла их так, как в первый вечер взяла плед, — осторожно, держа на весу. Посмотрела на время. Макс заглянул через её плечо: часы показывали половину пятого.

— И что? — спросил он.

— Время на них не идёт, — сказала Мира. — Оно возвращается. Я видела эти часы раньше, Макс. В этой квартире. В другой сотне лет.

Она опустила ящик — тихо, аккуратно, как закрывают крышку гроба, — и села на диван рядом со Звёздочкой. Кошка не отреагировала: лежала в своём светлом пятне и смотрела на комод так, будто давно обо всём знала и не собиралась помогать.

— В сотне лет до тебя в этой квартире жил попаданец, который носил такие часы, — продолжала Мира, глядя прямо перед собой. — Он заводил их каждое утро. Это было его правило: пока часы идут — день настоящий. Он боялся, что город остановит время. Мы все здесь немножко боимся.

— А город остановил?

— Нет. Он сделал хуже. — Мира повернулась к Максу. — Он оставил часы идти. А человека — нет. Теперь часы тикают в ящике, а время в этой комнате течёт по кругу. Сегодня полпятого. В следующий цикл — полпятого. И шар я зажгла не зря: город его погасил не потому, что рассердился. Он повторил момент. Здесь это уже было. Кто-то зажигал свет в этой комнате, и кто-то его гасил, и стены запомнили это так крепко, что теперь повторяют сами.

Макс посмотрел на гобелен над комодом. Листья в углу картины были повернуты чуть иначе, чем час назад. Он был почти уверен.

— Комната играет запись, — сказал он медленно. — Как плеер. Мы внутри чужой записи.

— Да. И это ещё не самое страшное. — Мира встала, подобрала посох, который специально отставила к стене, и держала его теперь обеими руками, по-рабочему. — Самое страшное — понять, что в записи есть место для тебя. Город не оставляет пустых кадров. Если комната повторяет чей-то вечер — она повторяет его с кем-то внутри. Она выбрала тебя, Макс. Не выбрала — примерила.

— А тебя?

— Меня она знает наизусть. — Мира улыбнулась, и улыбка вышла кривой. — Я в этой записи играю каждую сотню лет одну и ту же роль. Я хранительница. Я сижу на диване. Я говорю с попаданцем, и попаданец задаёт вопрос про часы, и я отвечаю ровно так же, как сейчас. Ты думаешь, это я сейчас говорю с тобой? Может быть. А может быть, это комната говорит моими словами, потому что так было всегда.

— Мира.

— Что?

— Посмотри на меня.

Она посмотрела. И Макс увидел, что её глаза — обычные, серо-голубые, с теми странными искрами в глубине — сейчас не сверкают. Они просто устали. Так устают люди, которые очень долго держат в руках что-то тяжёлое и не могут положить.

— Мы поменяем запись, — сказал он. — Вот и всё. Если комната играет по нотам — мы сыграем иначе. Пусть крутит чужой вечер, а мы сделаем свой.

— Как?

— Не знаю. — Макс сел рядом со Звёздочкой, на границу серого пятна света. Кошка переместилась и легла, прижавшись к его бедру. — Но я знаю, чего в её записи точно нет. Никто в ней не ел блины. Никто не смеялся над моими шутками — а ты смеялась, я слышал, и это была не запись, потому что я сам был очень удивлён. Значит, новые ноты уже есть. Мы их добавили. Комната просто ещё не выучила.

Мира молчала долго. Дождь за окном сменил ритм — стал чуть гуще, ближе, и в этом новом ритме было что-то похожее на любопытство.

— Ты опасный человек, Макс, — сказала она наконец без всякой улыбки. — Ты только что сказал городу, что его запись можно переписать. Он это услышал. Он всё слышит.

— Пусть слышит, — Макс пожал плечами. — Пусть знает. Я здесь не для того, чтобы играть чужие партии.

И тогда комод снова тикнул. Один раз — отрывисто, сердито, как часы, которым указали на неточность. Светлое пятно на полу дрогнуло и сдвинулось на палец влево. Звёздочка встала, потянулась и легла в новую границу пятна — ровно,

буднично, как кошка, которая много раз в жизни переезжала с места на место и ничего не боялась.

— Она приняла, — прошептала Мира и села рядом. — Пятно сдвинулось. Комната приняла новую ноту.

Они сидели втроём на диване — человек, хранительница и кошка с меткой на лбу, — под гобеленом, где цвёл несуществующий сад, и за окном шёл дождь, который никогда не кончался. Было полпятого, потом снова полпятого, потом наконец просто вечер.

— Осталась ванная, — сказал Макс через час, когда мир в комнате устоялся. — Завтра изучим ванную. Надеюсь, там не тикают часы.

— В ванной нет часов, — сказала Мира.

— И это хорошая новость?

— Это новость. Хорошая или нет — узнаем завтра.

Звёздочка мурлыкнула. Где-то в глубине дома, в пустых комнатах, которых они ещё не видели, тихо и терпеливо ждал Дождливый Город.

Глава 4.

Ванная комната оказалась самой маленькой и самой странной комнатой в квартире.

Макс открыл дверь утром — не по плану, просто захотел умыться, — и замер на пороге. За ночь комната изменилась. Вчера, при первом осмотре, здесь была ржавая ванна на чугунных лапах, тумбочка с облупленной дверцей и зеркало в паутине трещин. Теперь ванна блестела белой эмалью, будто её вынули из витрины сантехнического магазина, тумбочка стояла ровно, а зеркало было целым — и в нём отражалась не только ванная, но и полоса окна, которого в этой стене не было.

— Мира, — позвал Макс, не отрывая взгляда от зеркала. — У нас ремонт.

Мира пришла быстро — слишком быстро для человека, который спал в соседней комнате. Она вошла, посмотрела на ванну, на зеркало, на несуществующее окно в отражении — и её лицо прошло путь от спокойствия через настороженность к чему-то очень похожему на тоску.

— Город сделал нам подарок, — сказала она.

— Или намёк, — Макс вошёл внутрь и постучал пальцем по эмали. Ванна звучала глухо, тепло, как живая. — Мне не нравится, когда мне делают подарки с претензией.

— Все подарки этого города — с претензией, — Мира опустилась на краешек ванны и провела ладонью по её бортику. — Но этот... Этот я знаю.

Она замолчала. Макс сел на тумбочку напротив и стал ждать — он уже выучил, что у Миры молчание бывает трёх видов: «не хочу говорить», «не могу говорить» и «собираюсь с силами, сейчас будет что-то важное». Это было третье.

— В прошлую сотню лет здесь жила женщина, — сказала Мира наконец, глядя на зеркальную воду в ванне, которой не было. — Не попаданец. Местная. Она жила в этой квартире до меня, до всех попаданцев, кажется, ещё когда город был живым. Она мыла эту ванну каждое утро. Скрипела щёткой, пела себе под нос, ругалась, если вода шла рывками. Город помнит её привычки. И когда в квартире появляются новые жильцы, он... обслуживает их так, как обслуживало бы её.

— То есть это не подарок. Это заём из чужой жизни.

— Да. — Мира подняла на него глаза. — Город не умеет создавать новое, Макс. Он умеет только повторять. Вся его

щедрость — это чья-то старая память, которая ещё не выветрилась.

Макс обвёл взглядом комнату: белая эмаль, ровная тумбочка, отражённое окно, в котором — он присмотрелся — мелькало что-то серое, вроде силуэта, проходящего мимо.

— А окно в зеркале? В реальной стене окна нет.

— Это её окно, — тихо сказала Мира. — Оно выходило во двор. Двор больше не существует, но память о нём — есть. Если встанешь вот здесь, — она указала на место перед раковиной, — и посмотришь в зеркало, увидишь её двор. Так, каким он был.

Макс встал. Осторожно, как встают перед дверью, за которой может ничего не быть. В зеркале за его спиной раскрывался двор: старые тополя, качели на заржавленной цепи, бельё на верёвке, которое колышется, хотя ветра нет. И по двору, спиной к зрителю, шла женщина в выцветшем халате. Она несла таз с бельём. Шла не спеша, привычной дорогой.

Макс смотрел, не дыша. Женщина дошла до качелей, поставила таз, поправила верёвку — и в этот момент в отражении, в углу двора, мелькнула вторая фигура. Серебристая. С

меткой на лбу.

Звёздочка.

Макс резко обернулся. Кошка сидела в дверях ванной и смотрела на зеркало, поджав уши. Потом перевела взгляд на Макса — и мяукнула. Один раз, коротко, требовательно, как мяукают не «покорми меня», а «я знаю то, чего ты не знаешь».

— Она была здесь, — сказал Макс. — В этом дворе. С этой женщиной.

— Кошки с метками не привязаны к попаданцам, — Мира встала с ванны и подошла к зеркалу. — Они привязаны к городу. Точнее — к его ранам. Каждый раз, когда в городе случается что-то, что город не может переварить, появляется кошка. Она ходит по тем местам, где горит. Смотрит. Запоминает. Потом уходит — куда, я не знаю. Город стёр от меня и это.

— А эта женщина?

— Она умерла здесь, — Мира сказала это просто, потому что у простого не бывает обходных путей. — За день до того, как город закрылся. Она собиралась в пятницу стирать, в

субботу печь пирог, в понедельник идти к врачу. Город взял и заморозил всё это. Ванна помнит её утро. Зеркало помнит её двор. А пирог... пирог так и не испекли. Я не нашла в шкафах ни одной формы для выпечки, хотя кухня явно жила. Город хранит только то, что было прожито до конца.

Макс отошёл от зеркала. Двор за его спиной не исчез — продолжал жить в отражении, маленький и недоступный, как фотография в ржавой коробке.

— Значит, всё, что мы делаем здесь хорошего, — он говорил медленно, подбирая слова, — город не сохранит? Если мы сделаем свой ужин, свой вечер, свою запись — он всё равно отыграет чужие?

— Не всё, — Мира коснулась зеркала кончиками пальцев. В отражении двор дрогнул, как вода от брошенного камешка. — Ты уже доказал, что можно добавить ноту. Ванная просто показывает: чужих нот здесь больше, чем наших. Пока больше. Это не приговор, Макс. Это счёт.

— Счёт надо переигрывать, — сказал Макс.

— Ты это уже говорил.

— Повторение — мать учения. И, судя по этой комнате,

единственный способ что-то сделать в вашем городе.

Мира усмехнулась — коротко, в нос, но искренне. Потом вдруг потемнела лицом.

— Есть ещё кое-что. Я не хотела говорить в гостиной, на виду у стен. — Она понизила голос, хотя в пустой ванной и так не было никого, кроме них и отражений. — Комната повторяет не только привычки. Она повторяет последние дни. Женщина не умерла своей смертью, Макс. Она заметила, что город закрывается. Она видела то, чего не должна была видеть, — как и все, кто оказался в ненужное время в нужном месте. И последнюю ночь она провела в этой ванне. Хотела спрятаться от дождя. Вода не спасла.

Макс посмотрел на белую эмаль. Ванна — тёплая, живая, отзывчивая на постукивание — вдруг показалась ему не подарком, а надгробием, которое город поставил с той заботливой жестокостью, с которой в детстве дарят игрушку на похоронах.

— И она повторит эту ночь? — спросил он.

— Она уже готовится. — Мира кивнула на воду в ванне — на ту, которой не было, но которая проступала в эмали призрачной рябью. — Смотри. Уровень воды медленно под-

нимается. Каждый день чуть выше. Город репетирует. Если мы позволим записи дойти до конца — однажды ночью ванна наполнится сама, и комнату зальёт, и... кто бы ни был в этот момент в квартире — он сыграет роль утопающей.

— Мы не позволим.

— Как?

Макс огляделся. Тумбочка, зеркало, кран. Подошёл к крану, повернул вентиль — вода не пошла, но внутри труб что-то оживлённо загудело, как будто проснулись спящие.

— Если комната репетирует чужую ночь, — сказал он, — значит, у ночи есть сценарий. А у сценария есть сцены, которые можно срезать. Она заметила город в понедельник. Запряталась в ванну во вторник ночью. Значит, между понедельником и вторником были дни, когда она просто жила: стирала, пела, ругалась на воду. Если мы проживём эти дни громко, наполним их собой — у записи не останется времени на финальную сцену. Понимаешь? Мы не будем бороться с водой. Мы будем занять сцену.

Мира смотрела на него долго. Потом медленно улыбнулась — и впервые за всё утро в её глазах не было ни тревоги, ни звёздных искр. Просто улыбка.

— Ты только что предложил городу главную роль вместо статиста, — сказала она. — Он может обидеться.

— Пусть обижается. Я разносчик. У нас в Екатеринбурге это значит: всегда занят, всегда по расписанию, всегда приносишь то, что заказали. — Макс повернул вентиль обратно. Гул в трубах затих нехотя, как засыпающий ребёнок. — Так. Начинаем с самого простого. Она любила мыть ванну по утрам. Значит, будем мыть ванну по утрам. Оба. С песней.

— Я не умею петь.

— Научишься. У тебя есть сто лет практики и очень мотивированный учитель.

И в этот момент из коридора донёсся звук: мягкий, похожий на падение подушки. Они выглянули. Звёздочка лежала на пороге гостиной на спине, раскидав лапы, и смотрела на них снизу вверх с выражением бесконечного кошачьего достоинства. Возле её правой лапы, на полу, лежала щётка для ванны. Старая, деревянная, с жёсткой натуральной щетиной. Та самая, которой женщина скрипела по эмали каждое утро.

Кошка легла так, чтобы щётка оказалась в пределах вытянутой лапы. И легла — не случайно. Она её принесла.

— Она даёт нам реквизит, — прошептала Мира.

— Она даёт нам работу, — поправил Макс и присел, чтобы взять щётку. — Ладно, хранительница. Договорились. Начиная с завтрашнего утра эта ванна будет жить. Каждый день. Громко. С песней. А город подождёт со своими сценариями.

В зеркале, за их спинами, двор дрогнул ещё раз. Качели качнулись — и в отражении, у края двора, на секунду появился силуэт женщины. Она стояла и смотрела на них. Не с угрозой. С чем-то похожим на облегчение — как смотрят на людей, которые наконец зашли в квартиру, где очень долго было пусто.

Потом силуэт растворился, и в зеркале остался только двор с качелями и бельё, которое колышется без ветра.

Глава 5.

Спальня была единственной комнатой, в которую Мира не заходила.

Макс заметил это не сразу, а потом, когда заметил, не смог перестать. Она входила на кухню, в гостиную, в ванную, да-

же в кладовку — но дверь спальни обходила по дуге, как обходят лужу глубиной по колено. Однажды Макс поймал её взгляд: она стояла в коридоре, смотрела на приоткрытую дверь спальни — и смотрела не как на комнату, а как на могилу, о которой не принято говорить вслух.

— Ты в неё вообще заходила? — спросил он за ужином, накладывая ей вторую порцию блинов — она ела их теперь каждый вечер, и город, кажется, следил за этим с тревогой привыкания.

— Нет, — ответила Мира просто. — И не буду.

— Почему?

— Потому что в этой комнате спали все попаданцы. Все, кто был до тебя. Каждый. Первую ночь каждый из них провёл там, потому что я предлагала: «Вот твоя комната, вот кровать, вот одеяло». И они ложились. А утром я... — она подняла ложку, повертела, опустила. — Иногда утром я приходила будить их, а они не просыпались. Город разобрал их за ночь — тихо, аккуратно, без крови. А комната запомнила каждого.

— Так это не спальня. Это склад, — Макс отодвинул тарелку.

— Это спальня, — возразила Мира. — Просто спят в ней по-разному.

Макс встал из-за стола, прошёл в коридор и толкнул дверь до упора. Мира не окликнула его, не пошла следом — только слушала, как он внутри ходит, что-то двигает, что-то стучит. Потом раздался звук, которого она не ожидала: Макс перетащил кровать.

Грохнуло так, что Звёздочка с дивана взлетела на этажерку. Мира вскочила, кинулась к спальне — и застыла на пороге.

Макс отодвигал кровать от стены. Толкал её плечом, пыхтел, двигал сантиметр за сантиметром — старую, тяжёлую, на чугунных ножках, ту самую, на которой, по словам Миры, спали и умирали все попаданцы.

— Что ты делаешь? — спросила она с порога.

— Разбираю склад, — Макс вытер лоб рукавом. — Кровать уезжает от стены. Стена остаётся — а кровать уезжает. Пусть комната помнит, как хочет. Спать я буду на новом месте.

— Она догонит.

— Пусть догоняет по моему расписанию, а не по своему.

Мира шагнула внутрь — впервые за сотню лет. Половицы под ней крякнули, и по комнате прошла волна — как сквозняк, только тёплый. Обои в дальнем углу вздрогнули. Зеркало в стиле — да, здесь было и трюно — на миг помутнело и снова стало прозрачным.

— Она нас заметила, — прошептала Мира.

— Она нас услышала. Это разное, — Макс наконец дотащил кровать до середины комнаты и сел на неё, отдуваясь. — Всё. Смотри. Ни одна доска не касается стены. Спать буду посреди комнаты, как на острове. Если город придёт ночью — подойдёт со всех сторон, будет сложнее.

— Ты серьёзно собираешься так жить?

— Неделю-другую. Пока не пойму её ритм. — Он похлопал по одеялу рядом с собой. — Садись. Раз уж ты сюда зашла — осмотрись. Плачь, если надо. Здесь все плакали.

Мира села. Осторожно, на самый краешек, будто кровать могла быть заряжена. Потом, помедлив, сдвинулась ближе к

центру — туда, где только что была работа Макса.

— Здесь нет окна, — сказала она, оглядываясь. — Окно в этой комнате заколотили ещё до меня. Изнутри. Доски приколочены так, что не сорвешь.

— Значит, ночь здесь своя. Не городская.

— Да. Здесь ночь не наступает. Она всегда. И когда человек в темноте, где время не идёт, он начинает видеть то, что город вкладывает ему в голову. Я предлагала эту комнату не из жестокости, Макс. Я предлагала её, потому что так было заведено: попаданцу нужна спальня, а у меня есть только эта. Я не знала, что комната забирает. Она... начинала с хороших снов.

— С хороших?

— Город умеет быть щедрым перед тем, как забрать. Он показывает человеку всё, чего тот хочет: дом, который он потерял, людей, которых он любит, солнце, которого здесь нет. Человек привык, утонул в этом. А потом город поменял один сон на другой — и человек уже не смог отличить. Он лежал в кровати, улыбался, видел свою жизнь — и не просыпался. Тело здесь, а он там. Тогда тело... переставало быть нужным.

Макс молчал. Потом он сделал то, чего Мира не ожидала: лёг на спину, раскинул руки, как на пляже, и уставился в потолок.

— Хорошо, что я не умею мечтать, — сказал он.

— Все умеют мечтать.

— Я не про сны. Я про мечту. У меня в Екатеринбурге мечты были простые: доплыть до конца смены, накопить на зимние колёса, не опоздать к бабушке на чай в воскресенье. Это не то, что город может мне показать. Здесь нечего мне обещать.

— Ты уверен? — Мира посмотрела на него снизу вверх, с потолка — с той стороны, куда он смотрел. — А если он покажет мне?

Макс не ответил. Потому что понял, о чём она.

— Ладно, — сказал он наконец, садясь. — Новый план. Спим не в этой комнате, спим в гостиной. Кровать переезжает в гостиную. А эту превращаем в... кабинет. Рабочее место. Карты, заметки, чепуха. Комната, которая ничего не помнит о смерти, должна получить новую профессию.

— Ты хочешь выгнать комнату из её же истории?

— Я хочу занять сцену. Ты сама говорила: у города есть счёт — так пусть наши дела идут в плюс.

И той же ночью — не дождавшись утра, потому что Макс не умел ждать — они перетаскивали кровать в гостиную вдвоём. Чугунные ножки скребли по полу, Звёздочка бегала вокруг, в панике и восторге от процесса, а комната-спальня позади них медленно глохла, как аппарат, из которого вынули музыку. Когда они закрывали её дверь, Мира задержала на ней руку.

— Спасибо, — сказала она тихо, не глядя на Макса.

— За что?

— За то, что не спросил, почему я не заходила. А потом вошёл и всё понял.

— Я не всё понял, — честно сказал Макс. — Я понял главное: эта комната собиралась съесть меня так же, как съела их. А я не продукт. Я разносчик. Меня нельзя съесть, я слишком быстрый.

Мира фыркнула. И они пошли спать в гостиную, под го-

беленом, где цвёл несуществующий сад.

Ночь первая прошла спокойно.

Ночь вторая — тоже.

На третью ночь Макс увидел солнце.

Он понял это не сразу. Сначала он просто стоял на какой-то улице — не дожливой, обычной: асфальт, кроссовки под ногами, летняя жара, от которой плавится асфальт в тени. Кто-то звал его по имени. Голос был знакомый, но он не мог вспомнить, чей. Он пошёл на голос — и попал во двор. Во двор с качелями и бельём на верёвке. Во двор из зеркала в ванной.

Женщина в выцветшем халате сидела на лавочке и пила чай из блюдца. Она подняла на него глаза — и Макс понял, что во сне она может говорить.

— Ты тот, кто занял мой дом, — сказала она.

— Я тот, кто его отмыл, — ответил Макс. — Простите за самозванство.

— Не извиняйся. Давно никто не заходил. — Она подви-

нула ему блюдце. — Садись, если хочешь. Только не засиживайся. Здесь солнце уже по расписанию, а не по желанию.

— Это сон? — спросил Макс, садясь.

— Это память, — сказала женщина. — Разница в том, что сон тебе показывает город, а память я отдала сама. Мне не жалко. Пей. Ты ведь не спишь, верно? Ты ждёшь, когда я закончу.

— Я жду, когда вы скажете то, что хотите сказать.

Женщина усмехнулась — коротко, по-деревенски. Она была старая, с добрыми глазами и руками в муке.

— Этот город берёт не смертью, — сказала она. — Он берёт отчаянием. Человек падает духом — и комната его доедает. Пока ты улыбаешься, пока ты печёшь блины, пока ты переезжаете мебель — город будет только смотреть. Он не умеет брать тех, кто живёт. Он умеет брать тех, кто перестал.

— А ты перестала?

— В последний день, — она кивнула, и в её лице было что-то от усталости, а не от боли. — Устала. Хотела спать. Закрылась в ванной, чтобы никто не беспокоил. Только город

не беспокоил. Это я беспокоилась — о том, что мне нечем было больше тревожиться. А город просто протянул руку и забрал то, что уже лежало на краю.

— Значит, он не монстр?

— Он садовник, — сказала женщина. — Он ухаживает за тем, что уже растёт. Но не растит того, чего нет. Ты с Мирой растёте — потому он пока смотрит. Но у него есть план и срок. И твоя Мира... — она осеклась, будто прислушалась к чему-то за спиной. — Солнце садится. Иди. Не засиживайся.

— Подождите! Как вас звали?

— Меня звали мамой, — сказала женщина и улыбнулась. — Больше не запоминай ничего. Сны должны быть короткими.

Макс открыл глаза. Потолок гостиной, гобелен, звёздочка, тёплая от кошачьего тепла, лежавшая у него под боком. Была глубокая ночь, и в комнате не тикало ничего — даже часов не было, они остались в спальне, которая теперь была кабинетом.

Он лежал и думал. Думал о том, что «садовник» — это самое спокойное слово, которым можно назвать существо,

забирающее людей. Думал о том, что женщина из двора знала про Миру что-то, что не договорила. И о том, что если у города есть план и срок — он, Макс, стоит в самом начале этого срока, и таймер, возможно, уже тикает, просто он его не слышит.

— Ты не спишь, — голос Миры был тихим. Она сидела в кресле у окна, обхватив колени, и смотрела на дождь.

— Не сплю.

— Я слышала, как ты видел сон. Дыхание меняется. У тебя было быстрое дыхание, а потом очень медленное — так дышат, когда что-то решают.

— Мира. — Макс сел. — А тебе город показывает сны?

Мира молчала долго. Дождь за окном перестал барабанить и стал падать тяжёлыми редкими каплями — так падает дождь, когда город слушает.

— Иногда, — сказала она наконец. — Реже, чем раньше. Город даёт сны тем, у кого есть что-то, чего он хочет. Раньше я хотела быть свободной — и он давал мне сны о свободе. Потом я хотела, чтобы кто-то пришёл — и он давал мне сны о тебе ещё до того, как ты появился. Я думала, это предчув-

ствие. А теперь я думаю, что это была доставка. Он знал, что я скучаю, и выслал мне тебя, как посылку. И теперь он ждёт расписки.

— А ты подпишешь?

— Не знаю, — Мира посмотрела на него в темноте. — Ты первый попаданец, который не умер. Ты первый, кто переезжает мебель и печёт блины и зовёт город «вашим городом», хотя имеет в виду мой. Ты первый, кто спит в гостиной, потому что спальня опасна. Ты так много первых, что я начинаю бояться, что ты последний.

— Почему?

— Потому что если город не сможет забрать тебя по-старому... — она не договорила. И это молчание было хуже любого «потом расскажу».

В эту ночь оба не спали. Сидели втроём — с кошкой, которая время от времени переставляла хвост, — и ждали рассвета, которого в Дождливом городе не было. Но ровно в пять утра — Макс проверил по часам на руке, которые теперь жил на его запястье, а не в ящике комода, — дождь за окном на целую минуту умолк. Полная, звенящая, невозможная тишина. А потом снова закапал — ровно, спокойно,

по-новому.

— Он передохнул, — прошептала Мира. — Он не делал этого сто лет. Никогда.

— Может, устал?

— Может, думает.

— О нас?

— О тебе, — сказала Мира, и в её голосе не было ни страха, ни радости. Только осторожность человека, который много раз видел, как город думает о попаданце, — и знает, чем обычно заканчиваются такие мысли.

Макс подтянул колени к груди и посмотрел на гобелен. Листья в углу гобелена — тот самый угол, который он подмечал уже несколько раз, — колыхались чуть заметнее обычного. Сад на ткани просыпался. Сад на ткани помнил солнце так же, как пол в гостиной помнил светлое пятно, как комната-спальня помнила чужие сны.

— Знаешь, что я подумал? — сказал Макс. — Когда-нибудь в этом гобелене зацветёт наш сад. С нашими деревьями. И это будет уже не запись, а новая ветка.

Мира посмотрела на него — и впервые за все ночи, за все разговоры, за все «потом расскажу» она по-настоящему улыбнулась. Не для города. Не для стен. Для него.

— Тогда давай не будем спать, — сказала она. — Давай подождём рассвет. Хотя его нет. Всё равно подождём. Просто чтобы он знал, что мы ждали.

И они ждали. Втроём на диване, до самого «утра», которое в этом городе наступало только по договорённости. И когда серость неба едва-едва посветлела, дождь за окном на секунду изменился: одна-единственная капля сорвалась с карниза, упала на подоконник — и от неё пошло тонкое кольцо света, как от брошенного в воду камня. Одно. Единственное. Потом всё вернулось.

— Это он, — прошептала Мира, не отрывая взгляда от подоконника. — Он услышал про сад.

— И что думает?

— Думаю, — сказала Мира, и её голос дрогнул, — он впервые за сотню лет боится, что сад может быть настоящим.

Глава 6.

Стук в дверь был неправильным.

Макс понял это раньше, чем открыл глаза. Дождь в Дождливом городе стучал по-разному — по подоконнику, по карнизу, по жестяной вывеске аптеки через дорогу, — но он никогда не стучал по дверям. Двери здесь не заслуживали внимания города. А по их двери стучали. Три удара, пауза, ещё два — по-человечески неловко, костяшками пальцев, как стучат те, кто не уверен, откроют ли вообще.

Он лежал на диване в гостиной и слушал. Звёздочка уже стояла на подоконнике — во весь рост, вытянувшись, глядя в сторону прихожей так пристально, что между её ушами, казалось, можно было натянуть струну.

— Мира, — прошептал Макс в полутьме. — Ты слышишь?

Шаги в коридоре ответили ему раньше голоса. Мира шла к двери — и шла так, как не ходила ни разу за все недели их совместной жизни: быстро и почти бесшумно, как ходят не к двери, а к угрозе. Макс сел. Посох её был уже в руке — она не брала его со стены, она держала его постоянно с той ночи, когда дождь умолкал на минуту.

— Не открывай, — сказал Макс тихо.

— Уже слушаю, — ответила Мира, приложив ладонь к дверному косяку. Пальцы её слегка подрагивали. — За дверью один человек. Девушка. Двадцать с чем-то. Она мокрая насквозь и... — Мира замолчала.

— И что?

— И она боится. Но не двери. Она боится чего-то внутри себя. Это странно. Люди боятся города, дождя, темноты. Она боится — того, что она сама может здесь оказаться.

За дверью снова постучали. Тонко, три раза.

— Эй! — голос был молодой, надтреснутый от воды и напряжения. — Я знаю, что там кто-то есть. Я видела свет в окне. Прошу вас... мне некуда больше идти. Всё остальное пустое.

Мира посмотрела на Макса через коридор. В её глазах — серо-голубых, со своими звёздами в глубине — читался вопрос, который она не собиралась задавать вслух: «Она, да? Ты понимаешь, кто это?»

Макс кивнул. Потом, уже громче, чем следовало для ран-

него утра, сказал:

— Открывай. Мокрая — значит, замёрзнет. А всё живое в этом городе мы в дом пускаем. Это у нас правило.

— У нас одно правило в этом доме, — Мира повернула ключ. — И оно про блины.

Дверь распахнулась, и на пороге, на границе тёплого коридора и холодного дождя, стояла девушка. Длинные шоколадные волосы прилипли к плечам, красная куртка потемнела от воды и висела на ней, как вторая кожа, джинсы ниже колен были насквозь мокрыми. Голубые глаза — яркие, почти дерзкие даже сквозь усталость — обежали прихожую, задержались на Мире, на посохе, на Максе, и остановились на Звёздочке, которая с подоконника смотрела вниз с выражением судьи, оглашающего приговор.

— Вы настоящие, — сказала девушка с облегчением, от которого голос сел. — Я уже начала думать, что все окна в этом городе рисуют мне одного и того же человека в разных окнах.

— Мы настоящие, — Макс встал с дивана. — Заходи. Только ботинки можешь снять — пол я вчера мыл, буду обижаться.

Девушка шагнула внутрь — и в этот момент произошло то, чего не заметил бы никто, кто не смотрел бы в упор. Дождь за спиной у неё, падавший всю ночь ровно, как метроном, на один вздох сбился. Запнулся. И возобновился уже другим ритмом — более редким, более внимательным. Город внес нового жильца в свой список. Макс не услышал бы этого месяц назад. Сейчас — услышал.

— Меня зовут Элина, — девушка стянула куртку, и вода потекла с неё на линолеум ручьями. — Мне двадцать один. Я шла по своей улице в своём городе — по дороге на работу, представьте, в восемь утра, с кофе, — а потом асфальт кончился. Не оборвался, нет — кончился, как будто его нарисовали только до определённого места. Я стояла на границе, а дальше был этот... — она махнула рукой в сторону окна, — ...этот вечный ливень и пустые дома.

— Ты повезло, что стучала к нам, — Мира поставила посох к стене — жест, который раньше означал «никакой угрозы», а теперь означал что-то ещё, что Макс не мог разобрать. — В пустые дома города не советую заходить даже для того, чтобы переждать.

— Я заходила, — Элина поёжилась, вспоминая. — В первом был школьный класс, и все парты стояли по кругу, ли-

цом внутрь. Я развернула одну — просто развернула, чтобы сесть — а когда обернулась, они уже опять по кругу. Я выбежала. Второй дом был нормальный, но в нём на полу в детской был нарисован мелом круг, а внутри круга — слово. Я не знаю, что за слово. Я его не прочла. Я даже не могла на него смотреть.

— Умная девочка, — сказала Мира, и в её голосе не было ни иронии, ни похвалы — только констатация. — Что читается в этом городе, то читает и тебя в ответ. Особенно вслух.

— Язык города, — сказал Макс. — Тут им всё исписано. Стены, мостовые, кастрюли, если не смотреть.

— Кастрюли? — Элина перевела на него взгляд, и впервые за разговор в её глазах блеснуло что-то живое, не истерзанное. — Вы шутите?

— Он никогда не шутит, — Мира вздохнула. — Это его проклятие. Идите на кухню, у меня кипит чайник. Макс, разогрей то, что осталось. Наша гостья в наши блинчики ещё не верила.

Кухня приняла Элину тем, чем обычно принимает кухня замёрзшего человека: теплом, запахом вчерашней выпечки и видом еды, которая не выглядит подозрительной. Элина

села за стол, обхватила чашку двумя руками и долго просто держала её — не пила, а грелась, — а потом, когда чайник снова закипел, заговорила уже связнее.

— Я была в этом городе трое суток, — сказала она. — Пока. Двое — бродила, третью — сидела в подвале старого кинотеатра, потому что дождь стал бить так, что казалось, он вышибает из меня мысли. Я слушала там дождь и думала... — она запнулась. — Знаете, о чём я думала? Что если я не выберусь, то не хочу, чтобы обо мне забыли. Что где-то должен остаться кто-то, кто помнит, что Элина существовала. Мама, друзья, хоть кто-то. А потом я поняла страшное: я не уверена, что помню их сама. Их лица. Я помню, что у меня есть мама, я помню, что она работает в поликлинике, я помню её голос по телефону — «Элинка, ты поела?» — а вот лица... лица расплываются. Как будто кто-то стирает их медленно, аккуратно, снизу вверх, чтобы я не заметила сразу.

Стало тихо. Звёздочка, сидевшая на подоконнике кухни, повернула голову и посмотрела на Элину долгим, нечеловечески внимательным взглядом.

— Город забирает лица первыми, — тихо сказала Мира. — Из всех воспоминаний — первыми уходят лица. Он начинает с того, что тебе дороже всего, и бережёт это напоследок, чтобы ты дольше держалась. Он не жесток, этот город.

Он экономен.

— А что потом? — Элина не свела глаз с Миры. — Когда всё заберёт?

Мира ответила не сразу. Она посмотрела на Макса — коротко, на полсекунды, — и Макс успел прочесть в этом взгляде просьбу, которую раньше не видел: «Не сейчас. Не при ней».

— Потом человек остаётся, — сказала Мира ровно. — Тело остаётся. Ходит по улицам, повторяет маршруты. Но внутри уже никого нет. Таких я называю повторителями. Они не опасны. Они просто больше не гости.

Элина побледнела — так бледнеют не от страха, а от того, что страх уже был съеден и осталась только пустая тарелка от него.

— Значит, у меня есть срок, — сказала она. — Как долго он... стирает?

— Это зависит от тебя, — Макс поставил перед ней тарелку с блинами — последними, вчерашними, разогретыми на живом огне плиты. — Ешь. Потом поговорим о сроках. На пустой желудок разговоры о сроках только пугают.

Элина посмотрела на блины, потом на Макса, потом снова на блины — и вдруг рассмеялась. Коротко, удивлённо, сквозь подступившие слёзы.

— Блины, — сказала она. — Я три дня боялась этого города, а он выдал мне блины. Простите. Это просто... это самая нормальная вещь, которую я видела за трое суток.

— Это самая нормальная вещь, которую я сделал за последние сто лет, — сказал Макс, и Мира, стоявшая у плиты, издала тот самый звук — смешок в нос, — который Макс уже начал коллекционировать.

За завтраком разговор пошёл легче. Элина рассказывала о своём городе — она назвала его не сразу, только махнула рукой: «там, где у нас есть метро и пробки», — и Макс понимал её молчание лучше, чем она думала. Пока не произнесёшь название своего города вслух — он ещё существует. Пока держишь его на языке — он не уходит окончательно. Макс и сам не называл Екатеринбург вслух уже несколько дней. Не потому что забыл — потому что боялся, что вслед за лицом бабушки в его памяти уйдёт и то, из чего город состоит.

— А вы как здесь? — спросила Элина, отставив чашку.

— Вы давно? Вы... вместе?

Вопрос повис в воздухе в абсолютно неправильном месте, между абсолютно неправильными людьми, и Макс успел заметить, как Мира — которая в последние дни почти не отступала от него ни на шаг — чуть заметно выпрямилась. Не от радости. От готовности.

— Мы живём в одной квартире, — осторожно сказал Макс. — Мира здесь живёт давно. Она хранительница этого города. Я — попаданец. Как ты. Я пришёл... — он взвесил слова, — около двух недель назад. По местному счёту.

— Хранительница, — Элина повторила слово, пробуя его на вес. — Это как?

— Это долгая история, — Мира улыбнулась — и улыбка её вышла гладкой, отполированной, как дверная ручка, к которой все прикасались. — Когда-нибудь расскажу. Не сегодня.

И Макс заметил то, чего не должна была заметить Элина, но заметила — потому что три дня в городе, где стирают лица, обостряют зрение до предела: Миры, сидевшая на табурете, положила ладонь на стол не рядом с собой, а по центру. Между собой и Максом. Ровно посередине. Маленький, по-

чти невидимый заборчик из ладони.

А ещё Макс вспомнил — резко, как вспоминают забытое важное, — слова из тетради, которые он читал прошлой ночью: «новый попаданец... надежда... но если они сблизятся...» и ниже — зачёркнутое. Он тогда не дочитал. Теперь зачёркнутое гудело в голове, как непогашенный маячок.

— Скажи, — Элина повернулась к Мире, и голос её вдруг стал прямым, без обиняков — таким, каким бывает голос у людей, которым уже нечего терять и потому нечего скрывать. — Ты можешь нас вывести отсюда? Обоих? Ты же хранительница. Значит, знаешь, как устроен город. Значит, знаешь, где выход.

Мира медленно сняла ладонь со стола. Положила её на колено. Посмотрела на Элину — и Макс увидел, как в её глазах звёзды сузились. Не до щелей, как описывала потом Элина в своих рассказах, но заметно — с монет до булавочных головок.

— Знаю, где выход, — сказала Мира.

— И?

— И я не уверена, что хочу тебе его показывать.

Тишина на кухне стала звенящей. Звёздочка спрыгнула с подоконника, подошла к Мире — и, к удивлению Макса, не зашипела. Потёрлась о её ногу. Мира машинально опустила руку и почесала кошку за ухом — и Макс понял, что кошка не то чтобы примирилась с хранительницей. Кошка держала руку на пульсе. Так, как держат палец на запястье больного.

— Почему? — спросила Элина. Голос её дрогнул ровно один раз и выровнялся.

— Потому что выход в этом городе стоит, — Мира говорила медленно, подбирая слова, как подбирают камни на берегу — не всякий держит вес. — Каждый, кто уходил через него, оставлял здесь что-то. Я не выбирала, что оставить. Город выбирал. Иногда — память. Иногда — свет. Один раз... один раз человек оставил всю себя и ушёл в теле, которое уже никем не управляло. Поэтому я не спешу открывать двери. Дверь я могу открыть когда угодно. Вопрос — что унесёт каждый из вас на ту сторону.

— А что унёс Макс? — спросила Элина неожиданно. — Он же ещё здесь.

— Он пока не ушёл, — поправила Мира. — И потому ещё ничего не отдал.

— Или уже отдал, — сказал Макс, не удержавшись.

Мира посмотрела на него — быстро, остро, — и что-то в её лице дрогнуло. Макс не понял, что именно: страх или ответ. Возможно, и то и другое. Возможно, ответ был страхом.

— Ладно, — Элина встала, отодвинув стул. В её движениях появилась собранность — та самая уверенная походка, которую Макс заметил ещё на улице, вернулась, как возвращается вещь, которую город забрал временно. — Тогда договоримся так. Я не прошу вас рисковать. Я прошу честности. Если у выхода есть цена — скажите мне её в лицо. Я взрослая. Я выберу сама. А если вы мне не скажете... — она посмотрела на Миру, и голубые глаза её стали почти белыми, — я найду сама. Я умею искать. Я по профессии — археолог-стажёр. Я привыкла читать то, что другие прошли мимо.

— Археолог, — повторила Мира. И впервые за утро в её голосе прозвучало что-то, кроме настороженности, — что-то тонкое, похожее на печаль. — Он любит археологов. Он с ними играет дольше всего. Потому что они сами лезут в слои.

— Кто — он? — Элина обернулась.

— Город, — сказали Макс и Мира одновременно. И в этой одновременности было что-то, что заставило обоих замолчать.

Звёздочка мяукнула — коротко, деловито — и направилась к двери спальни, которая теперь была кабинетом. У самой двери она села, оглянулась на людей и замурлыкала требовательно, как делают кошки, которым некуда спешить, но которые точно знают, что вы должны идти за ними.

— Она хочет в кабинет, — сказал Макс.

— Она хочет в кабинет, — согласилась Мира, и Макс услышал, как у неё перехватило голос. — Макс. Тетрадь. Я оставила тетрадь на столе.

Элина посмотрела с Макса на Мире и обратно — уже по-другому. Не как гостья на хозяев. Как человек, который только что увидел первую трещину в стене и понял, что за стеной пустота.

— Какую тетрадь? — спросила она.

— Старую, — сказала Мира. — В ней я веду учёт. Всех, кто приходил в этот город до вас.

Кошка у двери мурлыкнула ещё раз. За окном дождь сменил ритм — стал тише, внимательнее, как слушатель, который до этого делал вид, что не слушает.

— Пойдёмте, — сказала Мира и взяла посох. — Раз уж сегодня всем всё интересно — расскажу я вам про учёт. Только с одним условием: после того, как вы всё услышите, никто не делает резких движений. В этом городе резкие движения — это когда перестаёшь доверять. Доверию здесь держаться сложнее всего. Оно как зонтик: только раскроешь — и сразу сквозняк.

Глава 7.

Кабинет встретил их запахом старой бумаги.

Мира подошла к столу, опустилась на одно колено и выдвинула нижний ящик — тот, который Макс никогда не открывал, потому что он запирался на щеколду без ключа, и Мира говорила: «пусто». Щеколда поддалась ей без звука, как будто ждала. Из ящика Мира достала вторую тетрадь — и Макс понял, что видел первую только потому, что она хотела, чтобы он её видел.

Эта тетрадь была другой. Не потрёпанный блокнот с замызганными страницами, а толстый том в тёмно-синем пере-

плёте, прошитый вручную суровой нитью. По корешку шла строчка знаков языка города, но между ними Макс разглядел знакомые буквы — кириллицу, вписанную между символов, как узкие окошки в каменной стене. На обложке, в углу, кто-то выжег маленькое солнце — круг с расходящимися лучами. Единственное солнце во всей квартире, и оно было нарисованным.

— Это не учёт, — сказала Мира, кладя том на стол. — Учёт я веду для города. Это я веду для людей.

Она открыла тетрадь, и Элина, наклонившись, ахнула.

Страницы были расписаны сверху донизу — но не только текстом. Здесь были рисунки: углём, карандашом, что-то — краской, разведённой до бледности. Портреты. Страница за страницей, десятки лиц: молодые, старые, грустные, смеющиеся. Под каждым — имя, дата прихода и строка-эпитафия, написанная другим почерком, более поздним, ровным и усталым.

— Это все, кто жил в городе, — Мира перевернула страницу, и Элина снова ахнула, потому что на развороте была нарисована карта — не та серая сетка улиц, которую Макс видел, а живая: с дворами, деревьями, маленькими человечками, идущими по тротуарам. Кто-то раскрасил её аквare-

лью, и краски, несмотря на столетия, не выцвели. — Каждый попаданец что-то оставлял в тетради. Рисунок. Историю. Рецепт. Один рисовал всё, что видел, потому что боялся забыть. Я не позволила тетради это забыть.

Элина осторожно коснулась страницы — и Макс заметил, что под её пальцем краска чуть светится, как остывающий уголь.

— Она живая, — прошептала Элина.

— Тетрадь сделана из того же, что и город, — сказала Мира. — Дождь, бумага, память. Она помнит своих. Читай.

И Элина читала. Вслух, сначала неуверенно, потом всё ровнее — потому что почерк, чей бы он ни был, был понятным, домашним, как письмо от родственника.

«Меня зовут Андрей. Я водил трамвай в своём городе. Здесь трамвая нет, но рельсы есть, и я хожу вдоль них каждый день, потому что рельсы — это единственная дорога, которая честно говорит, куда ведёт».

«Меня зовут Денис. Я собирал зонты. В этом городе зонты — это карты душ. Я не понял этого сразу, а когда понял — было поздно, но смешно. Смешно — это важно. Кто смеётся,

того труднее стереть».

«Меня зовут Кирилл. Я начал понимать язык города. Если ты, кто читает это, тоже начинаешь — остановись. Нет, не остановись. Просто знай, что понимание здесь — это не подарок. Это долг. Город даёт знание и берёт за него тем, что ты становишься его частью. Я стал. Мне не жаль. Но тебе, возможно, будет».

Элина подняла глаза от страницы.

— Кирилл стал частью города, — сказала она. — Это значит — он всё ещё здесь?

Мира молчала. Звёздочка, сидевшая на подоконнике, медленно моргнула.

— Дождь, — сказала наконец Мира. — Он в дожде. Каждый, кто растворился, звучит в каплях по-своему. Я умею отличать. Кирилл звучит как медь. Андрей — как трамвайный звонок, если очень захотеть услышать. — Она посмотрела на Макса, и в её глазах была та усталая честность, которую Макс уже научился ценить дороже обещаний. — Я не убивала их, Элина. Ты не увидишь в этой тетради того, чего боишься. Первая тетрадь — это ведомость. Она для города, и город диктует ей формулировки. «Устранено» — это его

слово, не моё. Город записывает исчезновение так, как понимает: ресурс вышел из оборота. А эта тетрадь — моя. В ней я записываю, как я помню. А я помню иначе.

Элина смотрела на неё долго. Макс поймал себя на том, что затаил дыхание: сейчас всё решится — верит Элина или нет, и от этого зависело всё, потому что трое, которые не верят друг другу в этом городе, живут меньше одного, который не верит никому.

— Покажи мне последнюю страницу, — сказала Элина.

— Зачем?

— Археологи не верят на слово. Мы верим слоям. Покажи последнюю страницу — если она написана позже всего, если почерк меняется со временем, как меняется человек, — я поверю. Потому что подделка не умеет стареть.

Мира перелистала том до конца. На последней странице, свежими чернилами, ещё не до конца впитавшимися, было написано:

«Сегодня в город пришла Элина. Археолог. Боится потерять лица тех, кого любит. Носит красную куртку, которая мокнет, потому что не умеет сдаваться дождю. Я не знаю,

чем всё закончится. Но я хочу, чтобы в этой тетради она была живой как можно дольше. Пусть это будет самая длинная запись».

Элина прочитала. Прочитала ещё раз. Провела пальцем по строчкам — и чернила под её пальцем дрогнули, будто подписались под тем, что написаны о ней, у неё на глазах.

— Когда ты это написала? — спросила она тихо.

— Сегодня ночью. Пока вы спали.

— А если бы я оказалась плохой?

— Тогда я бы вычеркнула, — просто сказала Мира. — Но у меня не поднялась бы рука. Вычёркивать живых — хуже, чем терять мёртвых.

Элина закрыла лицо ладонями. Плечи её дрогнули — раз, другой — и Макс потянулся было к ней, но Мира покачала головой: не трогай, пусть. Это были не слёзы страха. Это был выход того, что копилось три суток в подвале старого кинотеатра под стук дождя, когда человек боится, что его сотрут, и никто не заметит.

— Здесь меня помнят, — сказала Элина сквозь ладони. —

В вашем дурацком городе, где стирают лица, меня уже кто-то записал. Это самая... — она замялась, подбирая слово, и не нашла лучшего, — самая правильная вещь, которая со мной случалась.

— Радость у тебя дешёвая, — заметил Макс, чтобы разрядить.

— Радость всегда дешёвая. Дорогие только её скрывали, — Элина вытерла глаза рукавом и посмотрела на тетрадь уже по-деловому, с тем прищуром, с которым смотрят на слой земли, обещающий находку. — Ладно. Я тебе верю, Мира. На слово и на слои. Теперь говори, что дальше. Потому что если эта тетрадь пишет правду, то у меня есть срок, у города — план, а у нас — ровно один шанс его переиграть.

— Не один, — сказала Мира. — У нас есть дождь.

— Дождь — это то, что нас убивает.

— Дождь — это то, что их помнит, — Мира кивнула на тетрадь. — И то, что город слушает. Ты не понимаешь пока главного, Элина: город не стена и не монстр. Город — это процесс. Бесконечный дождь — это не погода. Это его дыхание. Пока дождь идёт — город жив. Пока город жив — цикл повторяется. Но у любого дыхания есть ритм. А у ритма есть

слабое место — пауза. Ты слышала эту паузу? Минуту тишины сегодня под утро?

— Я спала, — сказала Элина.

— Я слышал, — сказал Макс.

— Значит, ты ближе к разгадке, чем ты думаешь, — Мира закрыла тетрадь, и солнце на обложке мигнуло, как живое. — Но до паузы нам нужно пройти то, что город ставит на пути всех, кто добирается до правды. Он не отдаёт её просто так. Он задаёт вопросы.

— В смысле — экзамен? — спросил Макс.

— В смысле — загадки, — Мира встала и подошла к окну. Дождь за стеклом вдруг изменился: капли перестали биться хаотично и застучали в определённом порядке. Три. Пауза. Три. Пауза. Длинная. Два. — Слышишь? Он начинается. Каждую сотню лет, когда в городе становится трое, дождь начинает говорить загадками. Город проверяет: достойны ли вы того, чтобы он с вами разговаривал на равных. Если разгадаете — он откроет то, что скрывает. Если нет...

— То?

— То дождь будет говорить загадками, пока вы не перестанете слышать. Это первый и самый мягкий способ, которым город заставляет замолчать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.